

НАТАНИЕЛЬ ГОТОРН

АЛАЯ БУКВА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44
Г74

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с английского *Е. Осеновой*
Серийное оформление *А. Фереза, Е. Ферез*

Готорн, Натаниель.

Г74 Алая буква : [роман] / Натаниель Готорн ; [перевод с английского Е. Осеновой]. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 320 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-136275-1

«Алая буква» — самый известный из романов Натаниеля Готорна. Об этом романе спорили в гостиных всей Европы, а в России, вскоре после выхода, он был запрещен цензурой по личному приказу Николая I.

Красавица Эстер Принн, выданная замуж за сурового пуританского ученого намного старше ее, не смогла избавиться от чувств к молодому пастору — и изменила с ним мужу. Теперь она носит под сердцем плод этого греха, и вся ее дальнейшая судьба зависит от того, согласится ли законный супруг признать ребенка своим...

Если муж скажет правду, смерть покажется Эстер лучшим из наказаний. Но какую цену он заставит ее заплатить за спасительную ложь?..

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-136275-1

© Перевод. Е. Осенева, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2024

Предисловие ко второму изданию

Салем

19 марта 1850 г.

К большому удивлению автора, а также к немалому (в чем мог бы он признаться, не слишком боясь усугубить оскорбительность своих слов) его развлечению, он обнаружил, что вышедший из-под его пера и предваряющий «Алую букву» очерк с описанием общественной жизни колонии вызвал небывалое волнение в кругу всеми уважаемых граждан. Сожги автор здание таможни и погаси последние дымящиеся угли кровью того или иного достопочтенного лица из тех, к кому он, как, по-видимому, предполагается, питает особенно недобрые чувства, шум и то был бы менее яростным. Поскольку общее осуждение легло бы тяжелым бременем на совесть автора, в случае, если б согласился он, что осуждение это им заслужено, автор просит принять во внимание, что добросовестно перечитал страницы очерка, намереваясь подвергнуть переделке или вовсе исключить из текста все, что может считаться ошибочным, и тем самым сделать все, что в его силах, для умаления того ужасного зла, в котором его обвинили. Но, как ему представляется теперь, единст-

венное, что можно поставить в вину автору и что характеризует данный очерк, — это благодушный тон повествования, юмор и абсолютная точность, с какой он воспроизводит свои впечатления от лиц, там описываемых. Что же до враждебности, предубеждений и недобрых чувств, якобы питаемых к тем или иным лицам или же политическим установлениям, то такие обвинения автор полностью и решительно отвергает. Очерк этот, разумеется, можно было бы и опустить без большого ущерба как для книги, так и для публики, но, беря на себя труд написания этого очерка, автор был полон самых добрых намерений и преследовал, насколько это было в его возможностях, лишь одну цель — создание живой и правдивой картины.

Поэтому автор и осмеливается переиздать свой вступительный очерк, не поменяв в нем ни слова.

Таможня

Вступительный очерк к роману «Алая буква»

Примечателен тот факт, что, не имея склонности злоупотреблять рассказами о себе и своих делах — сидя у камина или же в кругу друзей, я дважды за всю мою жизнь все же уступал непреодолимой потребности обратиться к читателям напрямую.

В первый раз — случилось это года три-четыре тому назад — я совершил поступок, непростительный и вызванный бог весть какой причиной, понять ее ни благосклонному читателю, ни въедливому сочинителю не дано — я одарил публику описанием моей жизни в глубоком уединении и тишине Старой Усадьбы. Теперь же, ибо сверх всех моих ожиданий и никак не по моим заслугам мне случилось найти одного-двух слушателей в первом случае, я хватаю публику за пуговицу и рассказываю о трехлетнем моем опыте работы на таможне. При этом я, как никто другой, свято следую примеру прославленного «П.П., приходского клерка»¹. Однако истиной

¹ Имеется в виду Поль Прай, популярный в XIX веке комический персонаж, нахальный и злостный сплетник. — *Здесь и далее примеч. пер.*

мне кажется и то, что если он разбрасывает исписанные им листы, поручая их воле судьбы, автор в свой черед обращается не к тем многочисленным читателям, которые либо сразу же отложат книгу в сторону, либо вовсе не возьмут ее в руки, но к тем немногим, кто поймет его гораздо лучше большинства школьных его приятелей или тех, кто сопутствовал ему в дальнейшей жизни.

Встречаются, правда, авторы, которые позволяют себе излишество, пускаясь в такие откровения, которыми разумно делиться только и исключительно с тем единственным, чье сердце и ум полны к тебе неизменного сочувствия. Такие писатели воображают, что брошенная в широкий мир книга непременно отыщет отделенную от автора вторую его половину и тем дополнит круг его существования, завершив его недостающей частью. Но поскольку язык немеет, а мысль застывает, если говорящий не находит никакой связи со слушателями, то, может быть, и простиительно вообразить себе, что есть на свете друг, пусть и не близкий, но добрый и чуткий, который будет слушать рассказ, и что благосклонное внимание его способно растопить твою природную сдержанность, так что позволительно будет болтать обо всем, что на ум взбредет, рассказывая и о жизненных обстоятельствах, и о себе самом, оставляя все же сокровенное «я» за некоей туманной вуалью. До этих пределов и не выходя за их рамки, автор, на мой взгляд, может быть автобиографичным, никак не нарушая ни прав читателя, ни прав собственной личности.

В дальнейшем читатель убедится в том, что очерку этому свойственна черта, нередко встречаемая в литературе и ею узаконенная, — автор рассказы-

вает о том, каким образом в его руки попала значительная часть последующих страниц, и тем самым подтверждает истинность всего изложенного в книге. Только желание определить мое место как всего лишь издателя или чуть больше, нежели издателя, этого наиболее многословного из моих сочинений и явилось истинной причиной моего прямого обращения к читателю для установления с ним личных отношений — только это и ничто другое. Для достижения главной цели потребовались и кое-какие дополнительные штрихи. Ими я бегло обрисовываю жизнь, дотоле никем не описанную, и характеры людей, участвовавших в ней, среди которых был и я.

Полвека назад, в эпоху старого Кинга Дерби¹, центром всей жизни был шумный и оживленный порт. В наши дни порт превратился лишь в скопление обветшалых пакгаузов и не обнаруживает или почти не обнаруживает признаков какой-либо торговой деятельности. Изредка в меланхолических водах его в отдалении можно различить барку или бриг, привезший шкуры, или какая-нибудь шхуна, прибывшая из Новой Шотландии, сгружает на берег дрова. Так вот, у самого выезда из этого пришедшего в упадок порта, нередко затопляемого волнами прилива, там, где окаймленная густой травой и несущая на себе следы многих медлительных лет, тянется дорога, вдоль и за которой там и сям виднеются дома, здесь, с видом на сей безрадост-

¹ Дерби, Элиас Хаскет (1739–1799) — богатейший купец Массачусетса, судовладелец, первым в Новой Англии наладивший торговлю с Китаем.

ный пейзаж из окон фасада, а значит, поперек гавани высится поместительное кирпичное строение. С высокого конька его крыши ровно в течение трех с половиной часов, начиная с девяти утра, возносится вверх колеблемый ветерком или уныло свисает в безветрие флаг республики, тринадцать полос которого расположены не горизонтально, а вертикально в знак того, что власть Дяди Сэма представлена здесь не военной, а только гражданской своей частью.

Фронтон здания, украшенный портиком из полдюжины деревянных колонн, имеет выступ в виде балкона; широкие гранитные ступени лестницы ведут с балкона на улицу. Над входом распростер свои крылья огромного размера образчик американского орла. Грудь его прикрыта щитом, а в каждой лапе, как помнится мне, пучок молний и колючих стрел. Со свойственной ей вспыльчивостью, о чем свидетельствует свирепость ее клюва, выражение глаз и агрессивность позы, несчастная эта птица, как кажется, всем видом своим грозит бедой безобидным жителям мирного городка, в особенности предостерегая тех, кто осмелится вторгнуться в пределы, над которыми она распростерла свои крылья.

Невзирая на устрашающий вид птицы, многие даже и сейчас пытаются найти прибежище под ее крыльями, полагая, по всей вероятности, что на самом-то деле грудь у птицы мягкая, как пуховая подушка. Но даже и в самом благостном настроении орел не склонен нежничать и рано или поздно, скорее рано, встряхнется и отбросит от себя птенчиков ударом клюва или запустив в них одну из колючих своих стрел.

Растрескавшийся тротуар и мостовая возле здания, которое мы вправе назвать таможней порта, обильно поросли травой, свидетельствующей о том, что люди не снуют здесь взад-вперед и деловая жизнь толп не собирает. Впрочем, иногда в утренние часы бывает здесь заметно некоторое оживление. В таких случаях какой-нибудь престарелый обитатель городка может предаться воспоминаниям о времени, предшествующем последней войне с Англией, когда Салем был портом настоящим, а не таким, как теперь, презираемым даже местными купцами и судовладельцами, позволившими причалам Салемского порта ветшать и осыпаться, потому что дела свои, товары и грузы переместили они в Нью-Йорк или Бостон, где те и не нужны вовсе, и незаметны в мощном потоке других. В такие утра, когда в порту находится одновременно несколько судов, как правило, африканских или южноамериканских, прибывших или готовящихся к отплытию, лестница таможни гудит от множества торопливых шагов людей, снующих вверх-вниз по гранитным ступеням. Тогда вы встретите здесь и сможете приветствовать раньше, чем собственная его жена, загорелого, просоленного всеми ветрами капитана с потертой жестяной коробкой судовых документов под мышкой. Сюда заходит и его работодатель-судовладелец, веселый или сумрачный, любезный или угрюмый, в зависимости от результата только что завершившегося плавания — оставит ли оно его с прибылью в виде кучи золотых монет от хорошо проданного товара или же с несбытым грузом и неприятностями, избавиться от которых никто не может и не желает. А вот и тот, кому в будущем предстоит превратить-

ся в морщинистого седобородого и утомленного заботами делягу-купца, — хваткий юноша-клерк; уже познав вкус профессии, как вкусивший крови молодой волчонок, он начинает проворачивать на хозяйском судне собственные торговые дела, хотя по возрасту ему более пристало пускать игрушечные кораблики в пруду возле мельницы.

Еще один гость таможни — это матрос, отправляющийся в дальнее плавание, — ему нужен документ, а когда, бледный и изможденный, он из этого плавания возвратится, он будет просить здесь направление в больницу. Не следует забывать и о капитанах маленьких ржавых шхун, что возят дрова из британских владений. Хоть вид этих неуклюжих посудин, может, и не соответствует энергичной живости янки, но все же они вносят важный вклад в наш допотопный торговый промысел.

Собираясь все вместе, как это порою случается, и с добавлением ради разнообразия кое-каких случайных посетителей, все эти люди время от времени сообщают таможне некое оживление. Но чаще, однако, поднявшись по ее ступеням, вы увидите, у входа ли, если дело происходит летом, а в зимнее время или же в плохую погоду — внутри соответствующего помещения — лишь ряд достойных джентльменов, удобно устроившихся в старомодных креслах у стены.

Часто джентльмены эти дремлют, изредка перебрасываясь друг с другом словами, перемежаемыми то всхрапыванием, то сонным бормотанием, что обнаруживает полное отсутствие у них жизненной энергии, как это бывает у обитателей богаделен или кормящихся трудом других, словом, у тех, чья жизнь не требует личных усилий. Престарелые джентль-

мены, занятые, подобно Матфею, взиманием пош-лин¹, хотя вряд ли они заслуживают апостольского призвания, — это таможенные чиновники.

Далее, по левую руку от парадного входа, расположена зала, или же контора — комната в пятнадцать квадратных футов с довольно высоким потолком; из двух арочных окон ее открывается вид на обветшалую пристань, в то время как третье окно выходит в узкий проулок, за которым можно разглядеть часть Дерби-стрит. Из всех трех окон видны лавки бакалейщиков, торговцев мелочным товаром, корабельной утварью, а также съестным; возле дверей здесь обычно толпятся, болтают и балагурят старые моряки и всяческая шушера, что вечно околачивается возле порта. Стены конторы, облупленные, грязные, затянуты паутиной; пол, как во всех прочих присутственных местах по моде былых времен, покрыт слоем серого песка, что еще больше усиливает впечатление запущенности и вызывает подозрения, что волшебные женские орудия — метла и тряпка — проникают в это святилище крайне редко. Что же касается мебелировки, то в комнате находятся печь с внушительным колпаком вытяжки, старый сосновый стол с колченогим табуретом, два или три шатких стула с деревянными сиденьями, а также — немаловажная подробность! — подобие библиотеки: полки с десятком-другим сборников законов и постановлений Конгресса и объемистый справочник по налогообложению. Проходящая по

¹ Согласно библейской легенде, апостол и евангелист Матфей до своего апостольского служения собирал пошлину на Тиверидском озере.

потолку жестяная труба служит для сообщения с находящимися в других помещениях. И здесь же полгода тому назад бродил из угла в угол или же, сидя на колченогом стуле и опершись локтем на стол, проглатывал столбцы утренней газеты человек, хорошо знакомый вам, уважаемый читатель, тот самый, что любезно пригласил вас некогда в свой уютный тесный кабинет в западной стороне Старой Усадьбы, куда сквозь ивовые листья так весело проникали солнечные лучи. Однако теперь напрасно стали бы вы искать его здесь, расспрашивая, куда подевался сей поклонник «Локофокского наблюдателя»: метла реформ вымела его отсюда, и теперь другой, более достойный, заменяет его на этом служебном посту и вместо него получает жалованье.

Старый Салем, городок, где я родился и который считаю родным, хоть подолгу живал вне его и в детстве моем и в более зрелые годы, обладает или же обладал для меня притягательностью, силу которой я начинал ощущать, только когда покидал его. По правде говоря, городок этот — и само местоположение его на плоской и унылой равнине, и деревянные дома, по большей части или вовсе даже не претендующие на какие-либо архитектурные достоинства, и хаотичность планировки, и весь его облик, который, не отличаясь ни живописностью, ни оригинальностью, может быть охарактеризован не иначе как банальный, и его длинная главная улица, лениво тянущаяся через весь полуостров, от Холма Висельников и местной тюрьмы в ее начале и до богадельни на другом ее конце, — все эти черты моего родного городка, вместе взятые, способны вызвать привязанность не больше, чем может это сделать доска

для шашек с разбросанными по ней фигурами. Но все же, и несмотря даже на то, что гораздо счастливее бывал я во многих других местах, чувство, которое питаю я к старому Салему, за неимением других определений, вынужден я назвать любовью. Возможно, в сентиментальном чувстве этом повинны глубокие корни, которые издавна пустила в эту землю моя семья.

Вот уже два с четвертью столетия минуло с тех пор, как первый британский эмигрант, носивший мою фамилию, прибыл в этот затерянный в диких лесных дебрях поселок, постепенно ставший городом. И потомки его, здесь родившиеся и умиравшие, смешали бренный свой прах с этой землей, так что немалая ее доля стала мне родной, так или иначе, войдя в плотскую мою оболочку, в которой мне суждено, по-видимому, еще некоторое время разгуливать. Поэтому привязанность, о коей я толкую, в какой-то мере является чувственным влечением праха к праху. Мало кому из моих земляков близко это чувство, ну и слава богу, ибо, как говорят, частая пересадка укрепляет растение.

И однако чувство мое не лишено нравственной основы. Фигура прародителя моего, каковую семейное предание рисовало окутанной дымкой некоего мрачного величия, сколько я себя помню, всегда увлекала мое воображение. С нею связано и то теплое чувство, которое я питаю к прошлому, но отнюдь не к настоящему родного моего города. Мне кажется, что право мое на проживание в Салеме я получил не в силу собственных заслуг — они не так уж и известны и говорят жителям городка не больше, чем говорит им мое лицо, которое они

столь редко видят, а увидев, не узнают, — правом этим я обязан человеку, здесь похороненному, этому строгому, бородатому, в темных одеждах и островерхой шляпе предку, приехавшему сюда бог весть когда с Библией под мышкой и мечом в руке, человеку, гордо шествовавшему здесь по только что проложенной улице и бывшему всегда на виду как в мирное время, так и в дни сражений. Он был солдатом, законником, судьей, он правил местной церковью и обладал всеми чертами характера истинно пуританского, как достоинствами его, так и недостатками. Он был неутомим, как полагается пуританину, в искоренении человеческих пороков, и, как свидетельствуют квакеры в своих воспоминаниях, память об особой жестокости его по отношению к одной женщине из их секты, надо думать, надолго переживет рассказы о добрых его делах, коих было немало.

Сын его унаследовал отцовскую непреклонность и жестокость, а роль, которую он сыграл в процессах над салемискими ведьмами и кровь этих несчастных покрыли его, как можно смело утверждать, несмываемым пятном позора. Пятно это въелось в него столь глубоко, что даже кости его на кладбище у Чартерстрит, если только они не истлели окончательно, должны были сохранить на себе его след. Не знаю, испросили ли мои предки прощение у Неба за все свои жестокости или даже теперь, пребывая в ином мире, все еще стонут под тяжестью грехов своих. Так или иначе, но пишущий эти строки, берет на себя, как их представитель, стыд за их позор и молится за них, дабы души их отныне были избавлены от тяжести проклятия, говорят, вполне ими заслуженного,

как заслуживают его грехи всех тех из нашего рода, кто жил в то далекое и сумрачное время.

Не сомневаюсь, однако, что каждый из этих суровых и мрачных пуритан счел бы достаточным наказанием за грехи уже и то, что по прошествии долгих лет старый, почтенный и замшелый ствол фамильного древа на верхушке своей пустил росток в виде такого пустого малого, как я! Ни одна мечта, которую я когда-либо лелеял, не была бы ими одобрена, ни одну из целей моих не сочли бы они достойной похвалы, никакой мой успех, если жизнь моя вне дома и была когда-либо озарена успехом, не поколебал бы их отношения ко мне как к человеку ничтожному, и хорошо еще, если не как к позору семьи. «Да кто он такой?» — шепчет какая-нибудь седая родственная мне тень другой. — «Да истории всякие пишут». «Что за занятие он выбрал! Как прославить этим Господа? Как послужить времени и поколению своему! Это ж все равно что пиликать на скрипке!» Подобным образом прохаживаются, должно быть, на мой счет мои предки, перекликаясь через бездну времени. Но при всем их презрении ко мне я не могу не заметить стойкого сходства их натуры со своей и их черт, вплетенных в черты моего характера.

Глубоко укоренившись посредством этих двух энергичных и честных граждан в жизни городка периода его младенчества и детства, род наш с тех пор и обитал здесь, ни разу, насколько мне это известно, не уронив достоинства своего каким-либо бесчестием, в котором уличили бы того или иного представителя нашего рода, но при этом редко, если не считать первых двух прародителей, совершали родичи мои что-либо значительное или памятное для согра-